

### «Дух мировой тогда осел в эстетике...»\*

– Занимаясь историей советской социологии, мы пытаемся восстановить биографии ведущих ученых, наиболее значимые этапы их профессиональной карьеры и формирования профессионального сообщества. В данном случае речь идет о 60-х годах и «шестидесятниках». Каким был для вас, Юрий Николаевич, путь в науку, как сложились для вас эти годы?

– По происхождению я из сословия мещан – торгового, городского. Отец имел четырехклассное церковно-приходское образование, занимался строительством шоссейных дорог и дослужился до начальника дорожной станции (все это происходило в Саратове). Мать была из крестьян, не сразу, далеко не сразу получила финансовое образование, в основном заочно, работала бухгалтером и в конце концов стала начальником отдела доходов в городском финансовом управлении.

Но с точки зрения именно моей биографии очень интересно то, что у моих родителей с молодости был культ театра (кстати, в театральном кружке они и познакомились). На рубеже 20-30-х годов они участвовали в движении под названием «живая газета» – это когда в основе «представления» была не пьеса, а «злоба дня», извлеченная из газетных материалов. Изображался, например, «кровавый абсурд» мирового империализма – и по этой причине кто-то непременно должен был стоять на сцене вверх ногами, ибо этот самый «империализм» представлялся «режиссеру» перевернутым с ног на голову (вот оно, знаменитое режиссерское «я так вижу»). Между прочим, такая экстравагантная «роль» выпала однажды и моей маме, причем случилось это едва ли не за месяц до моего рождения. Но чем не жертвуешь ради «революционного искусства» – особенно, когда ты молод и полон жизненных сил... Примитивно, конечно. Но даже это, как ни странно, все же было неким эмбрионом духовности в широком смысле слова. К тому же мама неплохо пела, а отец время от времени читал очень патетическим голосом очень романтические стихи...

Что касается меня, то кроме рано развившейся любви к поэзии (подобно отцу я писал стихи) у меня со временем, где-то в седьмом-восьмом классах проявились склонность к философствованию и, что важнее, интерес к соответствующей литературе. Я хотел идти учиться по этой линии. Но для этого надо было уезжать из дома (в Саратовском университете философского факультета не было), а у меня было еще два младших брата, которых, как говорится, надо было «поднимать». В итоге вместо московского философского я «избрал» исторический факультет в Саратове.

Одно из первых моих осознанных увлечений было «ревизионистским». Я увлекся Георгием Валентиновичем Плехановым, собрание сочинений которого приобрел довольно рано. Девятый, десятый классы в школе, потом первый курс на истфаке прошли под знаком Плеханова, который, как я осознал лишь впоследствии, привлек меня своим философски углубленным социологизмом. Он меня прямо-таки потряс, я это очень хорошо помню, своей знаменитой статьей о Белинском с его увлечением гегелевской идеей «разумности действительного». Мой «ревизионизм» заключался в том, что, с одной стороны, я чувствовал явную неразумность советской действительности, а с другой – не видел из нее никакого «исхода». Помимо всего, и информации-то мы, кроме официальной, никакой не имели, зарубежных «голосов» еще не слушали. Поэтому единственным философским обоснованием своего существования, к какому я смог тогда прийти, стала для меня гегелевская идея разумности действительного, взятая к тому же в примитивном варианте Белинского, который ведь говорил даже не о действительном, а о *существующем*: о разумности всего существующего, его разумности уже потому, что оно просто есть. А до мысли о том, что у

---

\* Интервью опубликовано в книге «Российская социология шестидесятых годов в воспоминаниях и документах». ...

самого Гегеля *действительное* не тождественно существующему, а потому выше него, мне еще предстояло топтать и топтать...

Вот он, мой первичный мировоззренческий «комплекс»: сперва Плеханов, затем Белинский, а там, на горизонте – Гегель. И уже с первого курса я начал пытаться «освоить» философию Егора Федоровича (как называл его вслед за Белинским). Должен сказать, что по причине моей склонности к построению теоретических конструкций (без которых я не мог справиться с исторической фактографией) преподаватели относились ко мне хорошо, ставили пятерки, несмотря на то, что в отличие от настоящих историков я запоминал далеко не все даты; и довольно скоро сделали стипендиатом (тогда самой высокой была «сталинская стипендия»). Но некоторые из студентов постарше меня, делавших на факультете свою партийную карьеру, проведали, что я ко всему прочему еще и «Гегеля читаю». В лучших традициях они устроили мне «проработку» на комсомольском бюро, результатом чего была ликвидация этой моей стипендии с переводом на обычную повышенную (что нанесло ощутимый ущерб нашему семейному бюджету). Впрочем, я подозревал, что мое гегельянство хорошо не кончится: заниматься Гегелем, во всяком случае в Саратове, тогда считалось крамолой. Слава богу, никаких других «репрессий» не было: что называется, отделался легким испугом и сократившейся возможностью покупать у букинистов «не ту» литературу.

Учась на истфаке, я все время находился в состоянии обостряющегося «раздрая» - между философией с ее тяготением к широким обобщениям и историей с ее приверженностью «единичному факту». Это очень меня тяготило до тех пор, пока на факультете не появился новый преподаватель философии – Сергей Васильевич Николаев, «сосланный» к нам в Саратов по каким-то неведомым причинам. С его помощью я окончательно переключился на философию. И в результате как-то ухитрился написать сразу две дипломные работы - одну по истории, хотя и с философским уклоном (о Белинском), другую – совсем уж по философии (точнее, как теперь сказали бы, – по *социальной философии*, разрешенной формой которой тогда был один лишь «истмат»). Мой диплом назывался «К вопросу о месте науки в системе общественных отношений» («к вопросу о» – это от Плеханова). По-моему, эта работа была завершена еще до того, как И.Кон и другие начали всерьез размышлять на ту же тему в «большой печати».

– *Статья Кона в «Вопросах философии» была опубликована в 1951 году. Он тогда работал в Вологде.*

– Что касается «большой печати», то уже тогда мне казалось, что за выступление на ее страницах нужно было платить слишком большую, для меня неприемлемую идеологическую плату. К тому же даже в качестве дипломной работы мой текст представлялся руководителю «непроходимым». И чтобы обеспечить его «проходимость», С.В.Николаев – не просто преподаватель, но заведующий кафедрой философии университета – нашел такую формулу отзыва: «С принципиальными положениями дипломной работы категорически не согласен. Однако, учитывая большую самостоятельность автора и в то же время его молодость, считаю возможным оценить ее как отличную». А затем рекомендовал меня в аспирантуру при его кафедре.

Так состоялся в конце концов мой окончательный выбор в пользу философии. Диплом я защитил, однако несмотря на вполне «благопристойную» анкету дело с моим приемом в аспирантуру радикально застопорилось. Проходил год, затем другой, но «положительного решения» так и не было. Как сказал мне доверительно мой руководитель, «кто-то там (он показал пальцем вверх) на тебя капает, слишком уж ты кажешься “им” похожим на еврея: очень уж начитанный, да к тому же еще и черноглазый». Вот тогда-то я и почувствовал, что называется, печенками, насколько низкого мнения было наше «патриотическое начальство» об интеллектуальных качествах своего народа. И единственной моей надеждой оставалась теперь Москва, где, как я полагал (несмотря на очень невысокое мнение о московской философской продукции), «начальство» не может мыслить так уж примитивно.

В то время я уже два года проработал учителем истории в школе рабочей молодежи, а параллельно выступал и в роли саратовского театрального критика (тут уже явно сказалось семейное увлечение). В общем за годы тщетного ожидания приема в аспирантуру в местных газетах появилось десятка два моих статей и заметок, посвященных театру и драматургии. Отработав положенный срок в школе, я перешел в областную молодежную газету, где заведовал отделом культуры, продолжая писать о театре (1952-1954 годы). Поговаривали, что и это могло помешать положительному решению моих «аспирантских» проблем: критиком я был по-юношески нелицеприятным и не учитывал, что у каждого раскритикованного мною актера (актрисы) «в начальстве» мог ненароком оказаться покровитель. Видно, плохим я был «социологом» театра. Но окончательно решив поступать в аспирантуру в Москве, я стал серьезно готовиться к этому и сначала вообще ушел было отовсюду. Однако месяца через два (кормить-то семью надо!) все же принял приглашение на работу в детский театр – заведующим литературной частью. Моя работа заключалась в том, чтобы обеспечивать режиссеров соответствующей литературой, «привечать» провинциальных драматургов, доставать новые пьесы, «дотягивать» их... Я был, видимо, жутко нерасторопным, к тому же слишком «переборчивым» завлитом. Потому когда в итоге моей двухмесячной деятельности директор и главный режиссер спросили меня: «Где новая пьеса?» – мне нечего было «положить на стол». А ведь каждые школьные каникулы театр открывал премьерой. Так что в ответ на мои теоретические оправдания мне было сказано: «Хоть родите! Но пьеса должна быть». Пришлось «родить». Для «солидности» пьеса появилась под двумя подписями: моей собственной и моей жены. Это была инсценировка, написанная мною по мотивам сказок Оскара Уайльда. Называлась она «Звездный мальчик» и даже имела некоторый успех в российских провинциальных и республиканских театрах. Саратовский театр рискнул приехать с этим спектаклем на гастроли в Москву – это было в то время, когда я уже заканчивал кандидатскую диссертацию (моим руководителем был М.П.Баскин, которого Жданов назвал «философским волком»).

Одним словом, я все-таки поступил в аспирантуру в Институт философии. Хотя взяли меня не на три, а всего на два года, ссылаясь на то, что я сдал кандидатские экзамены (мне, видно, не надо было так торопиться). Мои занятия Гегелем продолжались теперь на законных основаниях. Еще в период моих завлитовских попыток поднять работу детского театра на должную (разумеется, философскую) высоту, я уперся в «Феноменологию духа», в которой мне почудилась перспектива решения моих проблем. И теперь решил: или я без всякой посторонней помощи (на которую и в Москве не рассчитывал) разберусь в «Феноменологии духа», или я должен уйти из философии, заняться детской драматургией, эстетикой воспитания (задачу детского театра я видел в том, чтобы научить детей не только смеяться в театре, но и плакать).

– *Когда вы изучали Гегеля, вы читали западные комментарии о нем?*

– Гегеля я читал на русском языке и на русском же – переводную литературу о Гегеле. У нас такая литература была (хотя специально о «Феноменологии духа» – не скажу, что много). Затем перешел к изучению соответствующей литературы на немецком и английском языках. Но вначале я упорно считал, что сперва должен разобраться в Гегеле самостоятельно и только потом, уже зная, что мне нужно, прибегнуть к помощи комментаторов.

– *На каких авторов вы опирались?*

– Это были все те, кого историки философии квалифицировали тогда как ортодоксальных гегельянцев (начиная с К.Розенкранца) и неогегельянцев (немецкие – Кронер, Глокнер, французские – Валь, Ипполит и другие). Работая над их комментариями к «Феноменологии духа», я не заметил, как вошел в основную проблематику современной западной философии, причем сделал это несколько раньше некоторых других моих коллег, которые, впрочем, никогда не обнаруживали склонности ссылаться на своих предшественников в деле популяризации современной западной философии (сперва это было неудобно по цензурным соображениям, а потом и в силу необходимости активно самоутверждаться). Однако по причине естественного интереса читателей философских

журналов к новым именам статья, предвоявшая диссертацию, имела резонанс гораздо более благожелательный, чем мои более поздние (и более серьезные) работы.

Но я забегаю вперед. На первых порах над диссертацией дамочным мечом висел вопрос об ортодоксальности ее названия – ситуация, характерная для нашей тогдашней философской атмосферы. Сперва у научного начальства вызвало решительное неприятие слово «дух», оказавшееся в заголовке диссертации. Пришлось полгода доказывать, что, говоря о гегелевской «Феноменологии духа», без этого слова никак не обойтись. Потом, по мере приближения к защите, заострился второй неприятный вопрос. Моя диссертация первоначально называлась «Феноменология духа и ее западные интерпретаторы». Почему «западные»? – это как-то беспартийно звучит, тогда как наша философия, известно, «партийна». Так что вместо слова «западные» нужно поставить классово-партийную квалификацию – «буржуазная»: иначе диссертация не пройдет, ибо никто не рискнет предложить подобный «объективизм» на защиту. Впрочем, был и дополнительный аргумент против прежнего заголовка: ведь в диссертации шла речь и о российских интерпретаторах Гегеля, например, об «отъявленном белогвардейце» И.Ильине (о котором едва ли не впервые был поднят тогда вопрос в советской философской литературе).

Все это я говорю для того, чтобы люди помоложе, которым, к счастью, не пришлось проходить через подобные воспитательные чистилища, более конкретно представляли себе атмосферу, сквозь которую институт-философским «диссертантам» приходилось продираться к защите, к тому, чтобы отстоять свое право всерьез заниматься философией. А ведь это были уже «оттепельные» годы. Однако – еще несколько слов о периоде работы над диссертацией, который был для меня любопытен буквально во всех отношениях.

Оказавшись в Институте философии, я засел в библиотеку и безвылазно сидел там с утра до ночи (ходили уже анекдоты о сумасшедшем провинциале, который «дорвался до науки»). Примерно через месяц к моему столу, на котором лежала одна-единственная книга – «Феноменология духа» в переводе учениц Радлова, – подошел человек, лохматый, очень худой, с тонким носом и сказал: «Вот тут мне все говорят, что кто-то сидит, Гегелем занимается. Давайте знакомиться. Я – Ильенков». Это был «тот самый» Ильенков, известный мне тогда только по небольшой информации в журнале «Вопросы философии», где говорилось о гнусном гносеологе, который собирался на идеалистический манер ревизовать наш диалектический материализм.

– Атака на него была все-таки не очень сильная?

– Как сказать. Атака была сначала в МГУ, где проходили целые проработочные заседания. Там гудел весь философский факультет, появлялись первые философско-политические размежевания. На будущем редакторе «Вопросов философии» В.Лекторском появился тогда «глубокий надкус» из-за того, что он выступил в защиту Эвальда. «На ем надкус», – говорили многоопытные кадровики, встречая его фамилию.

Диссертацию Ильенкова не утверждали два года. Он ушел в Институт философии, который – при всей его реакционности – все-таки считался тогда прогрессивнее МГУ. Эвальд написал там, развивая идеи диссертации, свою, на мой взгляд, наиболее интересную книгу «Диалектика абстрактного и конкретного в «Капитале» К.Маркса». Писал он ее под личным контролем П.Н.Федосеева, тогдашнего директора института. Когда книга дошла до верстки (это было уже после нашего знакомства, я еще сидел над Гегелем, тогда как он уже выдавал свою «ревизионистскую продукцию»), Федосеев, прочитав ее, приказал рассыпать набор. Теперь вы будете читать и удивляться, отчего это происходило. Но тогда все было всерьез. Директор вызвал к себе Ильенкова и имел с ним двухчасовой разговор. Эвальд пришел домой (а я там ждал результатов этого разговора), и у него не закрывалась челюсть. Просто физически не закрывалась, он тщетно пытался ее закрыть, а она все равно отвешивалась. Единственные слова, которые он тогда выдал из себя: «Я должен думать так, чтобы я мог откровенно разговаривать с Федосеевым». Они меня ошарашили: откровенничать с цензором? Искать с ним общий язык? Это был уже совершенно не ильенковский образ мыслей. Потом я понял, что уже тогда Эвальд надломился. Не случайно

его любимым автором после этого «откровенного разговора» стал Оруэлл, «главную книгу» которого он перевел «для себя» (по-моему, едва ли не всю), вложив в этот художественный перевод весь свой опыт общения с философскими «инстанциями».

Это опять же к тому, какова была тогда общая атмосфера в нашей философии. Ну, а что касается моего «Духа» – после того как тему диссертации окончательно утвердили, я написал еще один ее вариант, и в конце концов вышло 600 страниц. Такой объем был нереален, и 150 из них я «оформил» как «приложение» к ней. На том моя аспирантская эпопея закончилась – даже раньше намеченного срока.

Теперь нужно было позаботиться о том, чтобы найти жилье. У меня было уже двое детей, семья приехала ко мне в Москву, а жить нам было негде. Эта «экзистенциальная ситуация» в какой-то степени определила последующий выбор. Он определялся возможностями продлить прописку в Москве. Год меня держали на временной работе в институте, потом предложили уйти: не имели «юридических оснований» дальше продлевать прописку, а без нее не могли взять на работу.

В это время Михаил Александрович Лифшиц, которому приглянулась одна моя статья, опубликованная в журнале «Театр» (я продолжал писать статьи – теперь уже социально-философские – и на театральные темы), рекомендовал меня на работу в «Философскую энциклопедию».

– *Лифшиц был главным редактором «Искусства»?*

– Нет, в то время он не был никаким официальным лицом, но имел большой авторитет в неформальных философских кругах. В «оттепельном» общественном сознании витал и его дух. В то время М.А.Лифшиц опубликовал ряд статей достаточно крамольного свойства, «оттепельных» статей. Попутно он «разнес» одного из тогдашних институт-философских «этиков» – Разумного, что привело всех нас, молодых, в буйный восторг. Это было прекрасно. У многих были на слуху не только нашумевшие статьи Лифшица в «Новом мире», но и его иронические «мо»<sup>1</sup>. К тому же было хорошо известно, что он в больших друзьях с Твардовским: тот даже в шутку именовал его своим «комиссаром». Как видите, все связи переплетались: философские и политические, бытовые и литературные, этические и эстетические. И все это невольно предрасполагало к *социологизации* философского сознания. «Оттепельное сознание» было беременно социологией. Но не марксистской, классово-партийной, а гуманистически ориентированной. Нужно было только избавляться от прежнего жаргона. Что, впрочем, было не так-то легко – и по «объективным», и по субъективным причинам. Пока же мы продолжали наполнять мертвые слова живым подтекстом (к сожалению, гальванизовавшим и сами издохшие слова). Быть может, это понравилось Лифшицу в моих ранних статьях.

Так или иначе, но именно М.А.Лифшиц посоветовал взять меня на работу в философскую редакцию «Советской энциклопедии», которой заведовала тогда его вечная и трепетная поклонница Л.Ф.Денисова. Так я стал там старшим редактором. Тогда «зачиналась» известная пятитомная «Философская энциклопедия», над первым томом мы и работали вместе с З.А.Каменским и А.Г.Сpirкиным. Особый разговор – что нам разрешали в первом томе, что во втором и на что начали смотреть сквозь пальцы в третьем. И как дозволили разгуляться дальше тем, кому посчастливилось вступить попозже на тот же, но уже несколько протоптанный путь: Ю.Попову и Р.Гальцевой, давшим «зеленый свет» П.Гайденко и С.Аверинцеву.

Перейдя в «Энциклопедию», я продолжал заниматься историей философии, пытаюсь нащупать свою тропинку между поздним Гегелем и ранним Марксом. Пафосом этого моего периода была война против вульгарного социологизма (псевдоним марксистской догматической философии), что, как это ни парадоксально, оказалось первотолчком, побудившим меня поразмыслить над «невульгарной» социологией. Статья о вульгарном

<sup>1</sup> Афоризмы М.А.Лифшица - *Прим.ред.*

социологизме, которую я писал для «Философской энциклопедии», все время «утыкалась» в одну и ту же проблему: возможна ли не вульгарная социология вообще?

У самых известных борцов против вульгарного социологизма – Г.Лукача и его «молодого друга» 30-х годов М.Лифшица – вопрос решался просто: вся «буржуазная» (то есть западная) социология – вульгарная, или, выражаясь помягче, изначально заражена вульгарным социологизмом, и только в марксизме эта вульгарность преодолевается. Иначе говоря, возвращаемся к ленинскому: «марксистская социология это исторический материализм», и другой невульгарной (а значит и «подлинно» научной) социологии и быть не может. Такой же была и точка зрения Э.Ильенкова, ставшего «мостом» между Лифшицем-Лукачем и нашим молодым поколением. Вот почему поначалу мы, «молодые», чирикали о социологии на языке молодого Маркса, его концепции *Труда*, то есть деятельности. Это была «странная война» с позитивистской социологией, представлявшая собой способ «отыскания» непозитивистской (а это и означало для нас «невульгарной») социологии.

При этом вполне естественно, что главным «предметом», о который мы «расшибали» позитивистский социологизм (или социологический позитивизм), оказалось именно искусство, духовная культура вообще. Ведь и Лукач с Лифшицем вели свою войну против «вульгарного социологизма» еще в 1930-е годы (см. их тогдашний журнал «Литературный критик») именно на этом ристалище. А потому не было ничего удивительного в том, что я понял лишь с большим опозданием: почему, с одной стороны, некоторые из наших, впоследствии достаточно авторитетных социологов нашли свой путь в эту науку, кроме всего прочего, и через мою раннюю книжку «Труд и свобода», где о социологии не было ни слова. И почему, с другой стороны, переводчик этой моей книжки на итальянский язык Витторио Страда прислал мне в те годы книгу Г.Маркузе «Разум и революция» с намеком на близость моих размышлений тем, что были уже отработаны в русле «антисоциологии» Франкфуртской школы, восходившей к все тому же «раннему Лукачу». (Впрочем, поначалу этот намек на мое – бессознательное! – эпигонство не только меня не возмутил, но даже польстил моему самолюбию. К тому же обычно человек, открывающий, что кто-то другой думает так же, как и он сам, с удовольствием заключает: значит, я – не сумасшедший. Во всяком случае, именно так я тогда и подумал.)

Однако вернемся из этих заоблачных теоретических сфер к некоторым земным деталям, которые, как потом обнаружилось, также маркировали мой путь в социологию. Жилья у меня все еще не было, и я с семьей (и книгами) вынужден был через каждые два месяца переезжать, всякий раз продолжая ставить заветные «поллитры» милиционерам, упрашивая их позволить нам дожить до момента продления очередной «временной прописки». Вот почему я должен был уйти из «Философской энциклопедии» и перейти на работу в Фундаментальную библиотеку по общественным наукам АН СССР, где мне обещали комнату (и действительно, в конце концов дали, в старом доме, который был обречен на снос). Там я был старшим научным сотрудником, заведующим сектором философии (куда включалась и социология). В те годы (начало 60-х) в недрах Фундаментальной библиотеки фактически уже возникал будущий ИНИОН. Нам первым разрешили дополнить аннотационно-библиографическую работу реферативной (реферативные сборники, журналы и т.д.). Что и стало впоследствии главным делом ИНИОН.

Но в конце концов мне становилось все труднее сочетать «писанину» с библиографической работой. Свою первую книжку «Труд и свобода» я мог писать только ночами, поспав 3-4 часа после основной службы. Вот почему я согласился на предложение некоторых сотрудников Института истории искусств, с интересом воспринявших идеи моей книжки, перейти на работу к ним. Это был сектор эстетики, которым мне предстояло руководить вплоть до его погрома в 1968 году (в связи с тем, что в нем оказался «перебор подписантов»: начиная с заведующего и кончая... партторгом – это был Б.Шрагин,

впоследствии сотрудник радиостанции «Свобода»). В моем секторе сразу же сложилась «младомарксистская», как назвал ее потом Лифшиц, секта, связанная с кружком Ильенкова.

Возможно, вам будет небезынтересно узнать, что Эвальд во времена своего «гносеологизма», когда он был аспирантом (это 1955-56 годы), вел кружок в научном студенческом обществе, где занимались – «полуподпольным» тогда – переводом на русский язык книги Лукача «Молодой Гегель». Моя будущая жена П.П.Гайденко еще на 3-4 курсах перевела из нее главу об отчуждении, которая была «опубликована» в рукописном студенческом журнале. Кроме того, благодаря Эвальду мы прикоснулись и к сакраментальным тайнам другой работы Лукача – «История и классовое сознание». Она была в основном переведена у нас под названием «Материализация и пролетарское сознание» и публиковалась в трех номерах журнала «Вестник Коммунистической (Социалистической) Академии» за 1923 год. Такова была наша тогдашняя исходная точка – фихтеанский «бесконечный толчок» в социальную философию.

– А самого Лукача вы не видели в Институте философии?

– Я Лукача не видел, Эвальд, кажется, тоже. Лукача «заместил» в его сознании Лифшиц. Точно так же, как он сам «заместил» для нас Михаила Александровича. Лифшиц был моложе Лукача на целое поколение, но считал, что именно он обратил его на «путь истинный», отвратив от ревизионизма. Будучи секретарем Луначарского, Лифшиц познакомил Лукача с рядом неопубликованных материалов Ленина, со знаменитыми «Философскими тетрадями», которые произвели на Лукача неизгладимое впечатление, а главное (так считал Лифшиц и так воспринял это Ильенков) сдвинули его с пути фихтеанизированного марксизма на путь марксистского онтологизма.

– А в чем проявлялся ваш «младомарксизм»?

– М.А.Лифшиц, очевидно, усмотрел его уже в моей книжке «Труд и свобода», которая, кстати сказать, неоднократно мне аукалась. Но сначала немного о ее истории. Я написал ее довольно странным образом. Мне позвонили из только что организованного в начале 60-х годов издательства «Высшая школа» и спросили, не смогу ли я за три месяца написать книгу на такую-то тему. У них, мол, уже есть аналогичная книга – «Труд и социализм», но она предельно догматическая и потому им не нравится. Но просто так отклонить ее невозможно. А вот если будет ей альтернатива, то смогут ее не публиковать. Речь шла о книге будущего редактора журнала «Коммунист» и протеже Черненко – Р.И.Косолапова. Тогда он был аспирантом МГУ, весьма «партийно-преуспевающим». Быстро успел защититься и круто «шел в гору» (по партийной «лестнице»). Но книгу его все-таки отклонили и пустили мою (что он, оказывается, «запомнил»). После публикации книга тут же была признана ревизионистской; по поводу нее появилось довольно много всяких критических высказываний (с доносительным подтекстом); я мог бы собрать из них еще одну книжку. Появлялись и целые статьи «разоблачительного» характера – например, касающаяся главы об эстетике статья Бурова в «Вопросах философии». И как потом оказалось, М.Лифшицу мои ортодоксальные критики были гораздо ближе, чем я мог предположить.

Между тем как раз эти зримые доказательства нонконформизма моей ранней книжки, в которой с помощью идей раннего Маркса и позднего Ленина (как бы) преодолевался догматизм нашей – марксистско-ленинской – ортодоксии, импонировали «секторянам», добивавшимся моего перехода в Институт истории искусств, едва ли не более всего. Но были, разумеется, и более содержательные мотивы, обеспечившие естественность и органичность моего включения в жизнь сектора, где задавали тон гегельянски настроенные поклонники молодого Маркса, противопоставлявшие его «поздному Марксу» (а особенно – Энгельсу) гораздо более решительно и безоглядно, чем того хотелось бы М.А.Лифшицу, считавшему себя (как, впрочем, и поздний А.Ф.Лосев) единственно аутентичным «революционным марксистом».

Дело в том, что в книге я, что называется, своим ходом (то есть заново «открыв велосипед») пришел к проблематике, которая активно обсуждалась в – насквозь

социологизированной – эстетике 1920-х годов в связи со спором «мироотражающего» и «жизнестроительного» направлений в тогдашнем советском искусстве. Поскольку ко времени нашей теоретической молодости ленинская «теория отражения» в искусстве укоренилась настолько глубоко, что от нее буквально некуда было деться, мы, естественно, проявляли, как сказал бы М.А.Лифшиц, «небольшевистскую слабость» к «жизнестроительной» эстетике с ее (явно гипертрофированными, что поначалу нам только импонировало) социологическими устремлениями. Здесь нам виделся противовес той безнадежной схоластике, ничего уже не дававшей для понимания искусства и его новейших тенденций, «эстетической концепции искусства», заиклившейся на «классификации категорий прекрасного». В духе Н.Г.Чернышевского считалось, что оно в то же время и есть «сама жизнь» (читай: «наша, советская»), тогда как мы обнаруживали в ней так много «безобразий», что давно уже сомневались в возможности такого тождества. Так вот я и попытался в своей книжке решить эту антиномию прекрасного *идеала* жизни и ее явно неблагоприятной реальности, отправляясь от того, по сути дела социологического, истолкования, какое молодой Маркс дал гегелевской категории «отчуждение», расшифровав его как «отчуждение труда», то есть конкретной человеческой деятельности.

Здесь, казалось (причем, не только мне одному), открывался путь к преодолению схоластической игры с «категориями эстетического», которая явно омертвляла тот самый «живой дух», какой едва успел сбежать от догматического марксизма в область эстетики, искусствознания и литературоведения. Причем наша оппозиция к эстетической схоластике была настолько сильна, что мы, сотрудники сектора эстетики, временно (в интересах «интеллектуальной санитарии и гигиены») запретили себе употреблять «эстетические категории», заменяя их более определенными, по нашему тогдашнему разумению, понятиями философии и социологии искусства или психологии художественного творчества. Но, конечно, в первую очередь именно социологии искусства, дополняемой психологией творческого процесса. Однако как раз этим-то мы вызвали внутреннее отторжение от нас М.А.Лифшица.

*– Михаил Александрович ведь тоже работал в вашем институте и даже, кажется, в вашем же секторе?*

– Мы пригласили его к себе, в наш разрастающийся сектор, одним из первых и поначалу едва ли не сделали своим знаменем. Но вот произошло отторжение. Дело в том, что в наших эстетико-социологических исканиях он явно увидел возврат не только к «вульгарному социологизму» 20-х годов (какого мы стремились избежать на путях уточнения социологических понятий), но и «раннему лукачизму», от которого, как я уже говорил, Лифшиц, по его мнению, отвратил своего старшего друга. Однако самое главное, что больше всего его беспокоило (и не только теоретически, но и житейски) – это то, что мы норовили распространить категорию отчуждения и на понимание нашей «социалистической действительности». (Впрочем, здесь я снова забегаю вперед, рискуя порвать хронологическую нить своего рассказа об идейных исканиях эстетики, заново открывавшей для себя социологию.)

Итак, мы явно двигались, хотя далеко не все отдавали себе в этом отчет, не только к проблематике социологии искусства 20-х годов, но и к новому пониманию социологии вообще, отличному от того, которое просто-напросто заимствовали из позитивистски ориентированной западной социологии наши коллеги из Института философии. Они, как нам представлялось, механически соединяли их с понятиями марксистской социальной философии, имеющими антипозитивистский, гегелевски-фейербаховский источник. (Хотя некоторые из институт-философских социологов мотивировали этот «механицизм» чисто цензурными соображениями). Что же касается нашего «хода» социологизирующей мысли, то он был во многом параллелен тому, каким пошла на Западе так называемая диалектическая (она же отчасти и феноменологическая – см. Мерло-Понти) социология, озабоченная в первую очередь выработкой адекватного социологического инструментария для анализа



явлений духовной культуры, «интерсубъективного» измерения человеческого существования.

В этом же пункте намечались и мои расхождения с социологией искусства 20-х годов, которая была отмечена явными чертами сциентистского позитивизма и конструктивистского техницизма. Придя на основе анализа марксовской концепции отчуждения (как отчуждения человеческой деятельности, труда) к понятию «эстетической рамки», которое я артикулировал для себя еще до того, как «набрел» на работы Б.Арватова (был в 20-х годах такой авторитетный теоретик «жизнестроительного» и критик «эстетического» искусства), – я так же, как и он, попытался связать эту самую «рамку» с индивидуализмом «буржуазной эпохи». Поскольку, как и большинство марксистов, я был убежден, что судьба этой «индивидуалистической эпохи» – смениться «коллективистской» (хотя и не в форме «неистинного коллективизма», который утвердился у нас), постольку я делал логический, как мне тогда казалось, вывод: «рамочное» искусство – временно, преходящее, а, стало быть, – по большому счету – неистинно; оно дает «иллюзорное», а не реальное удовлетворение человеку, лишь «раздваивая» его с самим собой.

Так или иначе, но тогдашние «младомарксисты» восприняли мою книжку с большим энтузиазмом. Как мне рассказывали впоследствии, Эвальд показывал ее своим знакомым (кажется, речь шла конкретно о Карле Канторе, страстном приверженце «жизнестроительной» теории Арватова и поэзии Маяковского) и говорил: «Вот почитай, пока не прочтешь – я с тобой не буду разговаривать на эту тему». А один из наших «секторян», познакомившийся с моей книжкой раньше, чем со мною, – теоретик архитектуры Тасалов, – вспоминал как анекдот, что не имея возможности работать дома, он тайком приносил мою книжку в Ленинскую библиотеку (где почему-то ее не оказалось: говорят, «умыкнули»), штудировал ее там, а потом, так же за пазухой, уносил домой, каждый раз рискуя тем, что ее у него отберут. Он тогда был одержим идеей чего-то вроде Gesamtkunstwerk, базирующегося на архитектуре, теоретически обосновывая ее ссылками на молодого Маркса. Тогда он был весьма плодовит и написал, развивая эту идею, ряд крупных статей и книг в духе архитектуроцентристского утопизма.

– *Н.И.Лапин тоже был младомарксистом?*

– Тогда он, по-моему, не рисковал подходить слишком близко к «ильенковцам» (к которым причисляли и нас). Его интерес к молодому Марксу обнаружился значительно позже, когда он был окончательно интегрирован академической философией, к которой мы никогда себя не причисляли (а потому безнадежно опоздали с приобретением различных степеней и званий. Н.И.Лапин же никогда не был аутсайдером).

У Ильенкова, где познакомились друг с другом едва ли не все, кого М.А.Лифшиц квалифицировал как «младомарксистов», Лапина мне встречать не приходилось.

Там, у Ильенкова, я познакомился не только со многими будущими своими «секторянами», но и кое с кем из его зарубежных приверженцев – из числа бывших студентов философского факультета МГУ. Например, с будущими представителями будапештской школы неомарксизма Маркушем и его женой, которые, вернувшись в Венгрию, стали приверженцами «позднего Лукача». Лукач оставался для них (как, впрочем, и для многих других неомарксистов) единственным «аутентичным» марксистом. Там же, у Ильенкова, впервые родилась идея «перетянуть» меня в Институт истории искусств, где уже укоренились некоторые ильенковцы.

– *Из духа солидарности?*

– Трудно, конечно, воспроизвести ситуацию тех лет. У меня уже был некоторый выбор, появились возможности вернуться в Институт философии. Но в первой половине 60-х годов мы считали его одним из самых мракобесных учреждений, оплотом марксистского догматизма. И вообще полагали, что «мировой дух» давно уже покинул нашу философию. А если он где и присутствует – то в эстетике, где можно было более свободно толковать марксистские понятия. Что-то сделать в философии, как тогда казалось, можно было, лишь не затрагивая напрямую ее официальных догм.

Институт же истории искусств считался тогда (между прочим, именно благодаря угнездившемуся в нем авангардизму, что и делало меня тогда более терпимым к нему, чем следовало) самым левым из гуманитарных институтов. А его сектор эстетики – тем более. Будущие диссиденты собрались там в довольно большом количестве. И даже в партбюро его представляли те, кто был достаточно оппозиционен. Потому едва ли не половина всех будущих «подписантов» из института оказалась как раз в нашем секторе. Мы пригласили на работу, как я уже говорил, М.А.Лифшица (помню, как я с воодушевлением говорил своим знакомым: «Великое завоевание – у нас Лифшиц»), Михаил Александрович привел с собой еще двух, причем диаметрально противоположных людей – своего тогдашнего ученика и почитателя Игоря Виноградова из «Нового мира» (он оставался и в журнале) и Сергея Плотникова, которому предстояло сыграть в институте не лучшую роль.

В то время директором нашего института тоже была своего рода историческая личность – Владимир Семенович Кружков, бывший заведующий отделом пропаганды и агитации ЦК. Известен он тем, что вместе с М.Т.Иовчуком громил «безродных космополитов» (впрочем, без иовчуковской агрессивности), пока не «погорел» вместе с тогдашним министром культуры Г.Ф.Александровым на какой-то довольно скандальной и запутанной истории. Предпенсионному настроению Кружкова, полагавшего, что своего потолка он достиг, мы были обязаны его относительным невмешательством в дела нашего сектора, который притягивал и небольшой, но устойчивый круг людей, чувствовавших себя у нас довольно свободно и достаточно откровенно высказывавшихся (причем не только об искусстве). И вдруг меня начал вызывать к себе Кружков, выражая озабоченность «настроениями» в нашем секторе. При этом в изложении его претензий к нам я стал узнавать и собственные высказывания и высказывания коллег. Поскольку я не делал из этого секрета, это всех нас насторожило. По каким каналам информация о наших секторских баталиях стала достигать начальственных ушей? А тут и Михаил Александрович начал меня увещевать на правах «старшего товарища по партии»: «Братцы, вы распоясались, нам в секторе нужно кота завести. Чтобы котом пахло: тогда мыши притихнут». «Котом» мы так и не обзавелись, но Лифшиц стал устраивать нам марксистский «ликбез». Обсуждается, к примеру, простой вопрос, совсем не обязательно затрагивающий какой-нибудь «изм». Тут же встает Михаил Александрович и в течение двух, а то и более часов пытается втолковывать нам азы марксистского материализма. Видно, он считал, что мы не представляем себе, что такое настоящий «революционный марксизм» и оттого впадаем в злополучный «младомарксизм». А подчас складывалось такое впечатление, что он хочет занять максимум секторского времени, дабы у нас не оставалось его на высказывание крамольных соображений. Так или иначе, но он был явно напуган нашим ревизионизмом и в такой вот форме всячески дистанцировался от нас. Казалось – «на всякий случай». В конце концов нам это стало надоедать, что он, Михаил Александрович, конечно же, чувствовал, пытаюсь сдобрить свою марксистскую дидактику некоторой дозой юмора. Но было не до смеха. Секторская атмосфера накалилась. Особенно обострились у М.А.Лифшица отношения с Б.Шрагиным, который, как и он, обладал способностью юмористически «сказануть» там, где теоретическая аргументация уже «не работала».

Не буду вдаваться во все перипетии наших отношений. Скажу только, что когда обнаружилась основательная информированность директора относительно наших «антисоветских высказываний», мы сразу же начали «грешить» на протезе Лифшица С.Плотникова, который, в отличие от всех нас, был запросто «вхож» в дирекцию (о самом Михаиле Александровиче, мы, разумеется, не могли и подумать ничего подобного). К тому же этот человек был публично уличен в плагиате. В итоге Михаил Александрович ушел из института (а с ним и его соратники). Я же потерпел одновременно два больших разочарования – утратил не только веру в «аутентичность» лифшицианского «революционного марксизма», но и ощущение взаимопонимания с Э.Ильенковым: в его глазах авторитет М.А.Лифшица оставался незыблемым. Это в конце концов привело к нашему разрыву и с ним.

Любопытно, что как раз в эти годы, предшествовавшие «антиподписантской кампании» 1968 года, меня перестал удовлетворять не только «поздний» Маркс, но и «ранний». Иначе говоря, я перестал быть не только «младо-», но и вообще марксистом. Расколы, происходившие в нашем секторе, не остались бесследными и для моей собственной теоретической «кухни».

– *Работы сектора где-то публиковались в то время?*

– Наш сектор считался одним из самых плодотворных в институте. Мы регулярно издавали ежегодник «Вопросы эстетики». Начал это дело еще Г.А.Недошивин, возглавлявший сектор до меня. А я продолжил. Там мы публиковали свои младомарксистские опусы. Там появился расширенный вариант моей статьи об Адорно, с которым мне удалось встретиться в его знаменитом Франкфуртском институте еще в 1963 году. Кстати, уже тогда я имел готовую краткую версию этой статьи. Она называлась «Черт Андриана Леверкюна». Выходили и другие сборники, например, «Искусство и народ», «Реализм и художественные искания XX века». На протяжении трех лет (1966-1968) я каждый год издавал по книге, подготовленной и по институтскому плану, и, так сказать, сверх него: 1966 – «Искусство и элита», 1967 – «Искусство и революция», 1968 – «Искусство как социологический феномен». В них получила отражение моя попытка вычленить социологический аспект проблематики художественного творчества и эстетического восприятия. Делалось это, как правило, на фоне (и материале) истории философской мысли об искусстве, путем социологической расшифровки различных философских постановок вопроса. И наоборот: с помощью выявления философского смысла тех или иных социологических подходов к искусству. Такая взаимосвязь философии и социологии искусства гарантировала, как я полагал, от вульгарного социологизма.

В недрах нашего сектора возникли все первые статьи, которые печатал в журнале «Вопросы литературы» С.Аверинцев: о Шпенглере, Ясперсе, Маритене, Юнге и т.д. Все это делалось по плану нашего сектора. Уже тогда, во второй половине 60-х годов, мы задумали большую антологию философско-социологической мысли об искусстве – под 70 печатных листов. Она была доведена до набора, но в связи с официальным осуждением в 1968 году нашего «подписантства» – рассыпана.

– *А когда С.Аверинцев появился в вашем институте?*

– Вместо команды Лифшица мы пригласили в сектор двух неприкаянных тогда аспирантов, которых не взяли на работу в Институт мировой литературы (ИМЛИ), – Сережу Аверинцева и Сашу Михайлова. Но это приглашение далось нам не просто. На какие только ухищрения не приходилось идти, чтобы не вызвать у В.С.Кружкова сомнения относительно марксистской ортодоксальности этих двух молодых людей, за которыми тянулся имлийский «хвост». В конце концов «секторяне», посвященные в эту авантюру, пришли к выводу, что она может нам удастся при одном-единственном условии: если директор до подписания своего приказа не услышит от них ни слова. Ибо стоит только ему услышать от кого-нибудь из них витиеватую фразу, построенную по всем правилам античной риторики, как он тут же умозаключит: «не наш человек». По этой причине накануне решающей встречи с ним я умолял того и другого ничего не говорить: за них будем говорить мы – я и наш тогдашний секторский парторг Л.Пажитнов (тоже «младомарксист», еще до меня выпустивший небольшую книжку о ранних рукописях К.Маркса), кому и надлежало официально представить их В.С.Кружкову.

Так состоялся этот почти комический получасовой разговор в директорском кабинете, где мы с Пажитновым, сидевшие напротив Аверинцева и Михайлова, наперебой бросались отвечать на директорские вопросы, адресованные им, рассказывая Кружкову, какие это высокоэрудированные люди, чем они будут у нас заниматься, сколькими языками владеют, насколько они необходимы институту и сектору и т.д. и т.п. Очевидно, директор решил, что их молчание – результат скромности. Тем не менее на лице его лежала тень глубокого недоумения: нельзя же быть уж настолько скромными. Так прошло десять минут, двадцать, наконец, не лишенный добродушия Кружков не выдержал этой общей маяты и подписал

приказ об их зачислении на работу. Как, наверное, он удивлялся впоследствии, когда до него доходили слухи о многочасовых докладах Сергея Сергеевича. Впрочем, следует подчеркнуть, что впоследствии ни с Аверинцевым, ни с Михайловым никаких осложнений у нашего тогдашнего институтского начальства не было. Начальство, даже министерское и «цекашное», мало-помалу стало робеть перед «научной эрудицией». Впрочем, это продолжалось недолго.

Наступил 1968 год, началась знаменитая «подписантская» (а потом «антиподписантская») кампания. И получилось так, что треть нашего сектора подписала одно из писем Генеральному прокурору Руденко в защиту диссидентов Гинзбурга и Галанскова. Затем последовала команда примерно наказать «подписантов». Меня (вместе с другими институтскими членами партии, дозволившими себе «подписантские акции») подвергли в райкоме КПСС унизительному обряду «критики и самокритики». Сектор разогнали – кого-то уволили, кого-то перевели в другие сектора. Нашли нового заведующего – Георгия Ивановича Куницына. Для укрепления сектора в него взяли Суровцева, который потом стал секретарем Союза писателей.

Ни Аверинцев, ни Михайлов никаких писем не подписывали. Они считались тогда «небожителями» настолько, что им этого никто и не предлагал. Но их тоже перевели в другой сектор – западного искусства, которым руководил Недошивин. Под его началом мы существовали некоторое время, потом Аверинцев с Михайловым ушли в Институт мировой литературы, а я – в Институт конкретных социальных исследований. И не без некоторого облегчения. Судя по всему, «мировой дух» покидал также эстетику и искусствознание (если где он и теплился, так это в социологии, которая тем временем уже институционально отделилась от философии). Жизнь стала тяжелой.

– *В самом институте или тяготила общая атмосфера?*

– И то и другое. В Институте истории искусств перспективы дальнейшего развития эстетико-социологического подхода к искусству уже не было. Формой приспособления к постподписантской реакции здесь явно становился структурализм, поначалу шарахавшийся от всякой социологии, как черт от ладана. И если что и оставалось в институтском искусствознании собственно социологического, так это развитие эмпирических методов, все дальше уводившее от теоретической социологии искусства.

Что же касается изменения в моей личной судьбе, то получилось так, что после всех этих событий, когда мне врезали выговор за подписантство, у меня появился некто вроде личного цензора – наш куратор из ЦК Г.Г.Квасов. Поручил ли ему кто это дело или то была его личная инициатива – не знаю. Но все мои работы проходили теперь через него. Пока он их не завизирует – нечего было и пытаться их печатать. Но сперва, до передачи Квасову, директор читал их сам: боялся и читал, вернее, пытался читать почти все, к чему я имел прикосновение.

Антологию нашу мы так и не спасли. Ее набор рассыпали. А там, между прочим, были едва ли не все, кого стали публиковать во времена гласности. У нас они шли под видом эстетиков (как у А.Ф.Лосева – античные мыслители) – Ясперс, Хайдеггер, Адорно и т.д. Многие переводы Хайдеггера, который шел у нас как философ искусства, и М.Вебера, которого мы подавали как социолога искусства, сделал Михайлов. Некоторые переводы (скажем, из Шпенглера и Маритена) принадлежали Аверинцеву; все они ходили потом по рукам. Это было основательно прокомментированное издание. Ах, если бы не этот 68-ой год! Многие нам впоследствии так и говорили: «Вот смотрите, чего стоило ваше подписантство! То, что издается сейчас (то есть в 88-ом году), было бы издано двадцать лет назад».

– *Ну, это еще не известно.*

– Во всяком случае, шли и до сих пор слышатся и такие разговоры. Правильно ли мы сделали, что поставили на карту столь основательные издания? Может быть, кому-то и не надо было участвовать в той «переписке с властями», чтобы спасти уже сделанное в те годы? Не знаю. Теперь, когда уже действительно пошел бурный поток, мы можем утешаться лишь сознанием, что все это «зачиналось» уже тогда.

Но должен сказать: прежнего «младомарксистского единства» сектора не было уже накануне 1968 года. Аверинцев и Михайлов с самого начала пошли «своим путем». Хотя при этом у Саши Михайлова оставалась некая «небольшевистская слабость»: к Т.В.Адорно – одному из отцов-основателей Франкфуртской школы неомарксизма. (Он перевел значительную часть адорновских текстов. И не только музыкально-теоретических.) У Сережи Аверинцева была другая слабость – религиозный эстетизм русского Серебряного века. Свои разногласия у меня наметились с Пажитновым и Шрагиным, все дальше уходившими от эстетико-социологической проблематики в бердяевский «мистический анархизм». Наконец, как раз в день моего «подписантства», я и сам выступил с большим докладом в Институте международного рабочего движения, где подверг критике марксово толкование отчуждения, – чем вызвал возмущение «библирианцев».

В общем, наш «младомарксистский» натиск на официальную философию и эстетику явно исчерпывал свою изначальную энергию еще до того, как произошел институциональный погром сектора. Дух бурсацкой соборности явно вытеснялся из сектора духом воинствующего нарциссизма. И когда, сразу же после этого погрома, меня начали «выдавливать» из института, я уже был готов к «исходу» из него. Хотя поначалу казалось, что «исходить» мне в общем-то некуда: «подписант» (и муж «подписантки» – мы совершили эту свою «акцию» в один и тот же день и час), на коем висит партийный выговор с длинной «формулировкой», за которую при Сталине ставили к стенке, – я не представлял, кто мог бы рискнуть принять на работу такого «отщепенца».

«Выдавливание» началось фактически в тот момент, когда В.С.Кружков, ознакомившись с версткой очередного (явно запоздалого) выпуска «Вопросов эстетики», сказал, встретив меня в институтском коридоре: «Вы должны дописать в верстку своей статьи ряд принципиально важных пунктов, которые могли бы засвидетельствовать, что вы правильно восприняли партийную критику». Я ответил, что сделать этого не могу уже хотя бы потому, что это не имеет никакого отношения к содержанию статьи. «Нет, вы это сделаете! – сказал он, возвысив голос, – иначе не пойдет вся книга». Тогда я ответил: «Владимир Семенович, напишите, пожалуйста, приказ, в котором будет сформулировано все то, что вы только что сказали. И в приказном порядке поместите его в заключение моей статьи. Разумеется, за своей подписью». В ответ я услышал: «Бюрократ!» – с чем и удалился, поняв окончательно, что мне нужно срочно искать другую работу.

К счастью, в это время уже существовал Институт конкретных социальных исследований, возглавляемый А.М.Румянцевым, где оказались люди, которые были не против того, чтобы я перешел к ним. Среди них были и оба заместителя директора Г.Осипов и Ф.Бурлацкий, а главное – заведующий отделом социологии культуры Ю.Семенов (сын известного Нобелевского лауреата Н.Семенова). Разговоры с ними, в частности, «ночной разговор» с Ф.Бурлацким, неожиданно прикатившим к нам домой «однажды глубокой ночью», убедили меня в том, что если где и впрямь еще обитает «мировой дух», несмотря на все последние погромы, так это в ИКСИ. И мне оставалось лишь дожидаться того счастливого момента, когда оба заместителя директора (не очень-то «долюбливавшие» тогда друг друга) улучат, наконец, момент, чтобы – одновременно! – поставить подписи под моим заявлением с просьбой о приеме на работу.

А вот и эпилог: какое-то время спустя в тот же институт «ушли» и В.С.Кружкова, которому начальство не могло забыть то, что он «проморгал» наше злокозненное «подписантство». Впрочем, все это – сюжет для другого рассказа.